

КАПИТОЛИНА КОКШЕНЁВА

ВЫСТОЯВШИЙ

Двадцатый век определил в его судьбе очень многое. И он крепко, по-деревенски, ухватил этот век в своих произведениях. Нет, для Василия Белова это не был “век-волкодав”, но трагедию жизни в нём он ощутил вполне и в полную художественную силу вложил её в своих героев. И всё чаще кажется, что в утешение нынешнему русскому народу писали они – “деревенщики”.

Сейчас, когда Василий Иванович Белов не публикует новых произведений, нам все равно очень важно знать – он рядом. И не стоит делать из него всем удобную “нейтральную фигуру” – его не назовешь ни тишайшим, ни “объективным”, ни теплохладным. Он, узнавший беду безотцовщины и умеющий голодать; он, вкусивший не молока, но духа победы народной в Большой и Великой Отечественной войне; с каждым ударом судьбы становящийся смелее и сильнее – он, Василий Белов, писатель и русский мужик, – из породы выстоявших. Поднявшийся из беды и слез, чистенькой бедности детства и рабочей юности для того большого литературного труда, к которому писатель относится с крестьянской ответственностью, и который по сию пору принято как-то чуть преуменьшать, сомневаться в нем и искать нечто компрометирующее в идеологии его творчества.

Безусловно, литературные хозяйчики XXI века гораздо беспощаднее, чем самые свирепые советские чинуши, которых можно было победить, обмануть, напугать или убедить. Нынешние, они ничего не боятся и гнут вечную свою линию: вот если речь идет о всяческих оппозиционностях “реализма и модернизма”, о всяческих формальных поисках, хоть 20-х годов XX века или нынешних, то эту самую “оппозиционность литературы” будут всячески возводить в перл творения. А вот литературу, которую предъявили нам Василий Белов и Валентин Распутин, Юрий Галкин и Виктор Потанин, Виктор Лихоносов и Владимир Личутин, Борис Агеев и Вера Галактионова, Федор Абрамов и Виктор Астафьев, Василий Шукшин и Александр Яшин, – эту литературу превратить **в оппозиционную России** не удалось, хотя и пытались. Критики доказывали, что Белова и Распутина только потому печатают в других странах и землях, что они-де критикуют “советскую жизнь”, показывая “ужасы деревни”. Как тут не вспомнить про “гордый взор иноплеменный”, который не поймет и не заметит того, что “сквозит и тайно светит” в красоте все той же русской деревни и ее насельников-крестьян.

В лучшем случае о представителях литературы почвенной принято говорить весьма сдержанно, если только не Юрий Любимов или Лев Додин используют их деревенские произведения для своих гордых эстетических целей и общечеловеческих идеологических задач.

Впрочем, и среди, казалось бы, “своих” высказывались похвалы писателю сомнительного нравственного толка. Так, Н. Крылова щедро определила беловскую повесть “Привычное дело” в “золотой фонд русской словесности” на том основании, что содержит она смелый и выстраданный “диагноз российской национальной болезни, имя которой – не преодоленный комплекс рабства”. Нанизывая свои выводы на стержень “обличительного пафоса” произведения, критики договаривались до того, что в “подтексте повести открывается геноцид, ставший “привычным делом”. В общем, Василию Белову нагло навязывался либеральный критицизм, **не имеющий меры в осуждении своей страны**. Белова они помещали в разряд писателей-классиков, “показавших **наготу России**”. Удивляет дубинноголовое и навязчивое “понимание” с кривыми целями, – эти приписывания русскому писателю не естественных, не сродных для него задач: сыну (писателю Белову) априори невозможно показать **наготу матери** – России. Критики повторили древний, ветхозаветный “сюжет” (несмотря на весь материализм своего личного сознания), – сюжет о Хаме, увидевшем наготу отца своего; о Хаме, тем самым (видением, смотрением) положившим начало апостасии, первый этап которой – утрата сыновства. . .

Да что там говорить о других критиках, когда в самой Вологде вышла книга “Вологодские пенаты, или Пятая Вологда” (2008), где некий Анджей Дравич (Польша), приехавший в Вологду, вменяет В. И. Белову падение “в примитивную “глубинкоманию”, в “антиурбанизм и болезненный национализм” (с. 32). Как говорится, приятно “поднять ножку” и отметить рядом с классиком-Беловым. Трудно не вспомнить “европейничанье”, о котором так глубоко писал Данилевский (тоже имеющий непосредственное отношение к Вологде), когда на русскую жизнь и культуру смотрят сквозь “европейские очки” (“рассудку вопреки, наперекор стихиям”), и это как-то особенно заметно в культурной жизни Вологды последних лет. Как, например, отдающее тщеславным и мелким провинциализмом стремление к модным трендам – “фестивалям европейского кино”. . . Впрочем, противники “деревенской литературы”, не желая того, еще и еще раз подтвердили верность направления, давно выбранного русским писателем Василием Беловым, совершенно не обязанным нравиться посетившему Вологду за русский, видимо, счет, исторически неблагодарному поляку. . .

Но что же такого существенного делали они, “деревенщики”, где Белов был и остается фигурой центральной? Да, собственно, одно – преодолевали всякий **разрыв** настоящего с прошлым. И надо прямо сказать, что в 60–80-е годы XX века это преодоление шло с колоссальным воодушевлением. Книги Василия Белова и других писателей издавались грандиозными тиражами, жадно впитывались не только интеллигенцией, но и читающим народом. Он с товарищами вернул литературе национальное измерение, которое критики-законники полагали (“в плане когнитивном, познавательном”) всего лишь неким движением в сторону от монистической и довлеющей “соцреалистической мифологии” к “мифологии почвы”.

В веке XX – трагическом и трудном – эти мучительные разрывы с прошлым происходили дважды. В 1917-м и в 1991-м годах разделились русские и рассклалась русская история. Тогда, в 1917-м, от настоящего с кровью отдирали веру христианскую (“опиум и пережиток прошлого”), а потом громили и пили кровушку дворянства и крестьянства. И это **сошествие русских во ад** Василий Белов отразил в трилогии “Час шестой”, главном своем произведении.

Он писал эту трилогию долго – начал в 1972-м, как раз уже во времена сытые, а завершил в 1998-м, когда родина вновь была варварски и грубо оторвана от собственного прошлого, причем в прошлом всегда выбраковывалось лучшее и лучшие: после падения Российской империи – духовенство, офицерство, крестьянство; после распада империи советской – национальная интеллигенция и русский народ. Конечно, на этот философский вопрос, “почему лучше?”, литература отвечает по-своему. Василий Белов, посвятив “Час шестой” драме коллективизации, не мог быть ни в каком ином месте, кроме как со своими героями. Он писал трилогию **изнутри** крестьянского пространства (крестьянской природно-культурной ойкумены), а потому совершенно не был обязан видеть, что согнанные с земли крестьяне вложили свои силы в грандиозные стройки, в новый тип хозяйствования, который и дал возможность победить именно русскому мужику в невероятной по жестокости и размаху Второй мировой войне (это сделала, в частности, Зоя Прокопьева в талантливом романе “Своим чередом”).

“Кануны”, “Год великого перелома (Хроника начала 30-х годов)” и книга третья “Час шестой (Хроника 1932 года)” не раз были представлены как “памятники” разоренному и замученному русскому крестьянству, как рекем крестьянской жизни и миру-ладу с его навсегда рухнувшей симфонией жизни – укладом, упорядоченностью, повторяемостью идеала и устойчивостью красоты. Мне кажется, что эпический размах повествования, панорамная всеохватность реальности (родовой, психологической, культурно-национальной, социальной, политической в том числе) романа “Час шестой” нам, нынешним, важна прежде всего как имеющая ценностный центр, каковым является для писателя национальный мир в его трагической борьбе с идеей “мировой революции”, требующей обобщения человека до общечеловека; стирающей индивидуальное и особенное как несущественное и “тесное”, как “ограду, пеленки, оболочку куколки, которые надо порвать” (по словам Н. Данилевского), чтобы выйти “из пут национальности... в сферу общечеловеческого”. Это поразительно, но “деревенщички” и до сих пор, в ситуации второго за столетие разрыва времен, оказываются более содержательными для понимания национального мира, чем писатели новейшие и даже талантливейшие из них.

Исходной точкой для Василия Белова было художественное воссоздание той русской правды, что социальный мир, в который время втягивает человека, не может полностью совпадать с национальным миром человека, который изначально и глубже укоренен в нем. За Беловым стояло реальное знание русской крестьянской жизни, воплощенное в его типических героях. Да, он понимал, что коллективизация дала в будущем некий осязаемый результат, как и современная новейшая коллективизация, заключающаяся в монополии больших коллективных производств, вытеснивших крестьянские подворья, тоже способна накормить мир, согнав при этом человека с земли. Белов встал против того, чтобы русская народная культура и национальное мироощущение были сведены к позитивистски-утилитарным и лжерелигиозным задачам (построения “рая земного” сначала в СССР, а потом и во всей Вселенной). Иван Рогов, Павел Пачин-Рогов, дед Никита, мальчишка Сережка Рогов, Евграф Миронов и Данила Пачин, Вера (при всей плотной заселенности трилогии персонами реальными и вымышленными) остаются в повествовании главными фигурами, в коих воплощается все самое чаемое автором, самое его сокровенное. Они – герои **русского склада характера** (с их нравственной стойкостью, бесконечной любовью к земле, с исконным трудолюбием, семейной ответственностью за род и народ). Белов как писатель крепко по преимуществу своими мужиками, но и женский светлый, теплый образ Веры Роговой, жены Павла Пачина-Рогова, чист и ясен, как был ясен образ пушкинской Татьяны. Впрочем, и Катерина из повести “Привычное дело” навсегда останется крестьянским идеалом русской женщины. Оказывается, идеал крестьянский и дворянский не так уж далеко и разошлись.

Удивление и страх, говорит нам богословие, – это есть два орудия, помогающие стирать в человеке образ Божий, который и есть самая настоящая его защита. В тридцатые годы, о которых повествует Белов, первым оружием был страх, сегодня это удивление – мы удивляемся чужим культурным символам и прокалываем себе ноздри, уши, губы; мы удивляемся чужим модам и делаем “какой-то чудный выем” в самых неожиданных местах одежды. Мы удивляемся грязи под видом арт-феминизма, посягающего на устранение пола как “сексуального класса” в не иссякающей борьбе за равноправие то кошельков, то полов. Но откровенные и прикровенные христорборцы в беловском романе не заставили испугаться тех, кто не утратил своего сыновства у Бога. Не утратил потому, что остался сыном своему отцу, как Павел Рогов – герой типический, герой с существенно-русским отношением к жизни (он даже и главного своего врага не погубит, когда тот будет в полной зависимости от его личной воли – русский ТАК побеждать брезгает!).

Павел Рогов и Игнатий Сопронов – противостоят друг другу как два антагониста. Когда все вокруг рушится и меняется без всякой возможности увидеть перспективу, Павел начинает строить мельницу, являющуюся, безусловно, символом русского творческого упрямого дерзания (такие, как он, потом и полетят в космос). Мельница, перемалывающая зерно, – в романе это ещё и символ небесных устремлений человека. Белов настаивает на том, что это стремление “к небу” (к Богу) и есть важнейшее – сущность человека, дух которого принадлежит не “земле”, но “небу”. Игнатий Сопронов, напротив, эн-

тузиаст разрушения русской жизни, станет тем, кто порушит и роговскую мельницу-мечту. Если Павел, как Иван или дед Никита, стоящий строго и просто в своей вере, и даже мальчишка Сережка – даны писателем как личности, то их оппоненты как раз представляют собой вполне сплоченную бригаду “строителей коммунизма”, скрепленную неким новым корпоративным духом изытия, разъятия на части самой плоти русской крестьянской жизни. С языка так и слетает – строителей нового Вавилона (мирового коммунизма), что, собственно, и есть правда, горьчайшая от того, что среди соблазвившихся были ведь не иноземцы, а тоже русские люди, отрешившиеся от сыновства, приобретшие братоубийственную каинову печать и впавшие в грех почти религиозной веры в возможность обустройства земных дел как небесных.

Василий Белов не любит города. Он понимает и видит, как неизбежно это превращение деревенских – в городских. Иногда он подтрунивает над городскими порядками и нравами довольно мило, все равно всем сердцем переживая за своего деревенского героя (киноповесть “Целуются зори”, “Воспитание по доктору Споку”, “Чок-получок”, “Плотничкие рассказы”). Иногда, напротив, громыхает словами и посылает молнии гнева на горожан, как в романе “Всё впереди”, где сама перспектива (“впереди”) звучит весьма саркастически. О, тут-то, при обращении к городским темам и героям, Василий Белов оказывался один перед литературной стаей критиков, получивших возможность отыгаться сразу за всё: за талант и национальную гордость великоросса. Естественно, “осваивать территорию города” (где были свои “избранные”, как Рыбаков и Трифонов), лезть с “мужицким рылом” в городской калашный ряд было опасно. Белов тут же и получил: критики даже увидели, что у писателя “руки дрожат от злости” (?!), ну и роман “Все впереди”, естественно, был назван “антигородским” с “антиладом, антилюбовью, антигармонией” (Н. Иванова), а авторская позиция была ловко скомпрометирована тем, что носила якобы “черты мещанской растерянности перед движением времени” (ну уж они-то, городские критики, никогда не теряются, сливаясь в экстазе с “движением времени”). Роман был назван образцом мещанской культуры (О. Кучкина). Собственно, много ума не надо, чтобы приписать Белову все эти “анти”. Но вот обвинение в “мещанстве” было, конечно, вполне идеологическим, ставившим большого русского писателя, гордость национальной писательской школы, в один ряд с какой-нибудь городской сплетницей, лузгающей семечки у подъезда и собирающей сплетни о тех, чей “высокий образ” жизни и мысли ей принципиально недоступен. Выйди этот роман сегодня, назван он был бы иначе, много определеннее, ведь “типичный” Бриш и “нетипичный” Медведев – это не просто “герои того времени”, но определяющие борьбу духа и злобы времени сейчас.

Теперь уже нет сомнения, что Василий Белов эту распрю, случившуюся в 1986 году, выиграл. По сути, для Белова город – это центр вавилонской цивилизации, где навсегда потеряна связь с землей, с трудом на земле, с возделыванием земли – хлебопашеством (между тем Господь дал господство над **землю** сынам Божиим). Таким образом, связь человека с землей – это и его отношения с Богом, в которых земля есть нравственный спутник человека. Не будем спорить и доказывать, что город, мол, тоже под пером большого художника открылся нам с какой-то особой стороны. Не открылся – Белов ничего особенно яркого и неизвестного о городе не написал, зато написал существенное. Город больше, чем деревня, привязывает человека к земному и суетному; в городе труднее любить Бога; городу как раз от человека и нужно, чтобы он “человека в себе преодолел”, – тогда уж совсем его ничего не будет ограничивать на пути уподобления зверю. Естество вавилонской цивилизации называется “глобализмом” и “мировыми общечеловеческими ценностями”, которые суть новое кольцо на теле старого змея – мировой революции соблазна. Но понять себя сами они, люди города, уже не могут – поскольку нет у них “центра тяжести”, иссякла вера, нет богообщения, атрофировано мышление символическое и чувство этическое. . . Да, в такой картине есть некий вавилонско-городской “концентрат”, но он ли содержит много правды? Правды взгляда не столько из дня сегодняшнего, сколько взгляда сверху – с позиций вечности. А поскольку в России весь XX век город всегда жил богаче, ярче и лукавее, чем деревня; сорил деньгами, проедал и пропивал без усталости добываемое все той же “деревней”, мобилизованной на стройки

века, – то можно и понять оторопь, что берет писателя при виде “бесстрашной независимости” городского человека от всего отеческого, и его антипатию к городу, и его нескрываемое отрицание принципа пользы, извлекаемой человеками из человекoв...

Крещенный в младенчестве в церкви деревни Артемовской, он, будто отдавая долг этой своей ранней и сокровенно сохраняющей причастности Христу, проявит свое боголюбие еще и тем, что в возрасте шестидесяти лет начнет восстановление Никольской церкви вблизи родной Тимонихи и приведет в божеский вид скромное сельское кладбище, где вечный покой обрели его мама и бабушка. Смелый и прямолинейный в своих взглядах (русский богатырь ходит прямо, а Каин не выносит прямого взгляда), Василий Белов смог воплотить в своем творчестве то, что “больше ума”, – “сверхумное”, что наличествует в русской жизни и само по себе больше слова, не исчерпывается словом, но только через слова в речи, через какой-то заповедный их подбор и может найти путь в реальный мир для объяснения и предъявления себя. Я говорю о русском духе, который живет в книгах Василия Белова. Это для многих нынче “исторически неоперабельное” “понятие” было и остается все же главным двигателем и источником жизни на особинку.

Книга народной эстетики “Лад” питалась от сердечной глубины писателя, от живого в нем (наличного) народного духа, а потому и получилось выпеть эту “крестьянскую вселенную” (Ю. Селезнев) через обычаи и традиции будней и праздников, через речи, песни и бухтины, через работу и в доме, и в поле, через строительство и ткачество, через обустройство дома и банные традиции. Крестьянская изба, ее убранство и утварь (красный угол, стол и лавки, фотографии родни по стенам) – в “Ладе” предстают совершенно одухотворенными и вековыми. Ну, а печь – центр избы. В ней выпекаются хлеба из круто замешенного теста, как замешивается (творится) жизнь рода. В “Ладе” крестьянской Русью пахнет каждая страница, и каждая буква впрямую в этот большой нравственный национальный обзор.

Уже в первой своей книге “Деревня Бердяйка” Василий Белов показал цветастую, “неугомонную” жизнь, которая присуща русскому человеку как изначальная, “что бы ни творилось на земле”. А на земле недавно “творилась” война – Великая и Отечественная. Из мужиков, взятых на фронт, в деревню Тимониха никто не вернулся. Военные рассказы русских писателей не могут не быть отдельной страницей в их творчестве. Здесь, в глубине народа, в крестьянстве, вновь обнаружился главный ресурс одоления врага. И потопали крестьяне, в солдатских теперь сапогах, по полям да лесам, унося на войну и свои деревенские пейзажи, и дороги во ржи, и закатное солнце над речками, чтобы вновь свое, кровное затвердить в который раз как “священную матрицу” национальной жизни, как заповеданное и сохраненное предками. Россия деревенская в эту войну вновь выступила из-под гнета инструкции и директивы, чтобы на поле – теперь уже не хлебном, а поле ратном – вновь вздохнуть свободно и показать всю жизнеспасительную крестьянскую силу, переходя от дела хлебопашеского к ратной брани.

Критики не раз говорили о том, что война в нашей литературе XX века, у лучших наших писателей сделала возможным показать всю “сердечную натуру” русского человека, превративших рассказ о войне в рассказ о русской душе. Собственно, Василий Белов в одном из первых своих рассказов сразу же органически пристал к этому русскому родотворящему делу. Три крестьянских сына уйдут на Отечественную войну у главного героя и не вернуться (рассказ “Весна”). Родовая вертикаль сломлена, разорена врагом, обрублена. И не захочет герой жить, и попытается прервать свою жизнь как не могущий видеть свой род не продленным, но и сам же устыдится страшно и горько этой своей слабости, увидит грех свой даже как некоторое свое предательство сынов, их ненапрасной смерти. “Нужно было жить, сеять хлеб и ходить по этой трудной земле, потому что другому некому было делать все это”, – завершает автор повествование. Вот тут и обнаруживает себя вечная основа русского народа, умеющего превратить беду в источник творящий, поднимающий себя самого для нового, лучшего и надежного качества бытия.

Что говорят нам о национальном духе наши философы, и можем ли мы, в полноте доверяя им, увидеть то целое и то главное, чем крепятся к русской жизни беловские герои, в которых в наибольшей чистоте и глубине представлена русская суть?

Выше уже шла речь в связи с главной книгой Василия Белова “Час шестый” о соблазнительной силе утопии мировой революции и о “царствии коммунистического рая”, что строили его адепты на нашей земле. В статье о русском философе П. Е. Астафьеве ((1846–1893) Николай Петрович Ильин раскрывает важную связь между утопией “царствия Божия на земле” и “той погибелью, которую несёт... этот соблазн”, подчеркивая жирной чертой не только связь соблазна и погибели, но факт погибели именно для русского человека (что совсем не обязательно для иных народов). Утопия **противоречит сути** нашего национального характера, так как “наш народный дух не может считать религиозную задачу **земною** задачей, выполняемой устройением какой бы то ни было **организации** людей” (П. Астафьев). А “во-вторых, – цитирую Н. П. Ильина, – (и это, пожалуй, главное), каждая такая система создаётся особой “исторической культурной силой”, которую Астафьев называет **национальным духом**. Только национальный дух сообщает общечеловеческим ценностям “объективную жизнеспособность”; они получают определенную форму, полноту и конкретность “только в том органическом строе, в котором они поставлены национальным духом”. Национальный дух, отмечает Астафьев, как “историческая культурная сила” переживает периоды подъёма и упадка и может быть исчерпан или утрачен, в результате чего культурные начала обессиливаются, лишаются “значения живых мотивов дальнейшей духовной жизни”, хотя и сохраняют значение “памятников культуры”. Итак, национальная культура мертва без национального духа, и потому нация является синонимом не столько национальной культуры (или национального государства и пр.), сколько именно национального духа, который **созидает** культуру как органическое целое”.

Василий Белов смог в живых и полных образах показать нам борьбу мировой утопии с русским духом. Его герои с “народным сердцем” отказались уничтожить небо ради земли. Он увидел в них самый главный источник восстания после падения – “огонь личного духа” (это уже слова Ивана Ильина). Увидел глубинно-прекрасную и сердечную связанность человека с тихой крестьянской родиной в Павле и деде Никите, в рыжем попе, ставшем мучеником за веру, в Вере Роговой и Иване Африкановиче, а также в реальных русских людях – Василии Шукшине и Валерии Гаврилине, о которых тоже написал книги-размышления. И сколько бы ни возводили новые адепты всяческих “мировых пожаров” на высокие этажи мироздания идею личности, независимую от служения идеалу, мы, имеющие в родовом литературном наследстве наших деревенщиков, можем повторить вслед за П. Е. Астафьевым: личность без духовного содержания превращается в особь, неотличимую от иного животного мира. Сердечный теплый человек русской литературы имел своим защитником и Василия Белова. В сердце его героев таинственно-нутряным и сложным образом сходились все пути и задачи. Земные и небесные. Родовые, государственные и лично-религиозные. Христианское сердце русской литературы бьется в творчестве Василия Белова, герои которого, восстав из бед, унижений и горестей, так трудно и совестливо правили путь свой и к настоящей Истине, и к жизни для России.